

Игорю Робертовичу Кузнецову 24 декабря исполняется 60 лет. Хороший срок и хороший повод поговорить о писательстве, Египте, живописи, ночных птицах – ибисах, поселившихся однажды под карнизом театра – и о многом другом. Предварить наш разговор хочу цитатой из давней моей заметке о сборнике прозы Игоря Кузнецова «Бестиарий. Книга историй»:

*Но ручаюсь, что давно не читал подобных книг современных авторов, пробуждающих сознание, дарящих череду различных ассоциаций, жгуче интересных. И признаться, мне было странно, что Игорь Кузнецов не из тех авторов, о которых говорят повсюду. И не раз я восклицал в душе: да не о тех же говорят! Вот – проза, настоящая, русская, выпестованная в сердце человека, любящего Чехова, Бунина, Гончарова, но и не чурающегося опыта певцов абсурда и умственных игр: Кафки, Павича.*

**Ермаков.** Игорь, со времен этой заметки, по-моему, мало что изменилось. И критики все говорят – да не о тех. Вот и давай поговорим о тебе. К этому времени, сколько ты написал книг, опубликованных и хранящихся в столе, может быть?

**Кузнецов.** Олег, при всей внешней очевидности и простоте вопрос о том, сколько я написал, оказывается не таким уж простым. С одной стороны, на полках стоит не так уж мало книг – десятка полтора уж точно, с другой – «чистой» прозы совсем немного написано, а кое-что переходит из книги в книгу, потому как каждый раз я стараюсь делать не сборники, а именно книги. Сейчас собрал две таких – малень-

кую «Крысин и Рыбин» (там шесть рассказов, этакий «юбилейный» формат) и большую «Кто сказал счастье». Об этой стоит поговорить подробнее.

Собственно, сделал я её довольно давно, но как-то сразу она не вышла, и я её отложил. Что оказалось правильно – видно, всему и в самом деле своё время. Теперь я её дополнил и разделил на две части. Первая часть «Счастье» – это рассказы и повести, вторая – «Тонкие вещи», куда входит своего рода мемуарная эссеистика: «Город без невесты» (про Иваново, где я родился и прожил до двадцати лет), «Человек по имени Милорад» (про встречи и дружбу с Павичем), «Путь. Повесть о Тане» (о моей жене Тане Морозовой) и «Отставший» (это уже о себе со всяческими чудесными историями из жизни, а их было множество). Надеюсь, эти две книжки выйдут в обозримо ближайшее время.

**Е.** Характерное название последней вещи. Здесь ирония или ты действительно чувствуешь себя отставшим? Или никогда и не хотел бежать, задрать штаны, за лит-процессом? И есть ли он вообще? То есть некий процесс в литературе, движение к чему-то?

**К.** Присутствует, конечно, и некоторая ирония. Но «отставший» имеет здесь и вполне серьёзное основание. Написал я довольно мало, особенно по сравнению с некоторыми друзьями и прочими коллегами, чьему усердию и многописанию искренне завидую (говорю это безо всякого подвоха). Многие уже могут выпустить или даже выпустили семи-, восьми- или даже десятитомники. У меня же, поди, прозы и

эссеистики на хороший один том наберётся, так, с «Анну Каренину» объёмом.

Ну вот такой я медленный и ленивый. По лень я тоже вполне серьёзно. А более подробно и «тонко» обо всём этом я напишу в самом «Отставшем». Хотя один очень важный момент отмечу здесь и сразу. Помнишь, была такая идиотская формула: «хороший человек – это не профессия»? Не профессия, конечно, но важнейшее свойство человеческое. И если в юности своей я считал, что литература – самое главное в моей жизни, то, не отрекаясь от этого, со временем я понял, что жизнь сама по себе всё же главнее литературы. В «Отставшем» как раз будет глава «Как я стал хорошим». Литература этому, кстати, помогла изрядно!

Литпроцесс, конечно, есть, и я в нём даже очень скромно участвую. Мне вообще нравятся писатели и я согласен с Пашей Басинским, заявившим в одном эссе: «Писатели – лучшие люди на Земле». Но дело наше очень индивидуальное, успех же и, соответственно, внимание критики и читателей – очень зависят от множества факторов: качество текста и обыкновенно незамысловатая (или необыкновенно замысловатая) удача иногда очень далеки друг от друга (хотя порой и совпадают).

И, думаю, «Отставший» – это мой вызов в некотором смысле, но не кому-то, а себе самому, прежде всего. Дело же наше сочинительское тем и ещё замечательно, что непредсказуемо: вот допишу роман, что сочиняю уже третий год, – и все его прочитают, а там уж и всё прежде написанное заодно. Почему нет? Как мы помним, писатель в России должен жить долго.

**Е.** Тут слышны нотки любимого твоего Гончарова, точнее, одного его героя, Ильи Ильича. Но вернемся к твоим книгам. Знаю, что некоторые книги ты писал вдвоем с женой Таней.

**К.** Есть ещё неопубликованный роман «ВВП, или Глас народа». Он про выборы,

и мы его с Таней начинали как сценарий для одного хорошего режиссёра, но уехали на реальные выборы, идея со сценарием остыла, и родился роман, по-моему, очень смешной, а по жанру вполне себе «производственный», ибо там показана технологическая сторона избирательного процесса в России (а мы с Таней в этой сфере поработали немало). Этот роман был практически на выходе в двух журналах и в одном большом издательстве, но в последний момент они отказывались его публиковать: сдаётся мне, из соображений политической «осторожности». Но скоро, мне кажется, он всё равно будет востребован и выйдет.

Ещё есть у нас с Таней роман «Команда. Хроника передела: 1997-2004» аж в четырёх книгах. Писали мы его для одного питерского издательства, очень хотевшего получить нечто вроде нашумевшей тогда «Бригады». Про бандитов нам было писать не слишком интересно, и мы сочинили историю про интеллектуалов, пришедших к успеху благодаря своим продвинутым мозгам. Из четырёх книг вышли две, а потом как-то всё увяло. Но тоже, думаю, может быть востребовано сегодня – всех теперь интересует недавнее прошлое, а тут как раз о становлении российского капитала, причём, смешного и весёлого в этом романе тоже много, да и сюжетные ходы там очень нестандартные.

Ещё мы написали с Таней несколько детективов-триллеров и даже одну мелодраму (по ней же сделан нами сценарий 8-серийного фильма, но с ним история тоже «подвисла»).

Есть также целый ряд изданий Ивана Александровича Гончарова с моими комментариями к романам и биографией столь любимого мною писателя. Сохранился и целый пласт всякой критической эссеистики. Что-то из неё, конечно, устарело, а многое, думаю, вполне себе осталось жизнеспособно и интересно. Может,

когда-нибудь соберу это всё в отдельную книжку.

**Е.** Как-то купил «Обыкновенную историю», прочитал обстоятельное предисловие и только тогда обратил внимание на подпись. Кузнецов! Здорово было повстречать знакомого. Как будто в том веке. Мне кажется, тебе как-то ближе именно то время. Гончаровский синтаксис просвечивает в твоих рассказах и повестях. Мечтал ты оказаться в Обломовке, признайся? Или на фрегате «Паллада»?

**К.** Не задумывался о такой забавно-фантастической перспективе... Хотя, думаю, я там бывал в каком-то смысле, во сне или в воображении. А Гончарова я очень люблю. И как писателя, и, если хочешь, как литературного персонажа. Его жизнь – это какая-то гремучая смесь стабильности и спокойствия с невероятными «вывертами», вроде путешествия на фрегате «Паллада» по огромным пространствам земного шара и обратно в Петербург через Сибирь.

И всё же по-настоящему живым и прошедшее время, и человека для нас делают детали. Вот одна из моих самых любимых. Третьяков заказал Ивану Крамскому портрет Гончарова для своей галереи с обещанием очень хорошего гонорара. Гончаров отказывался, и не раз. Но однажды Крамской нарисовал акварельный портрет любимого гончаровского шпица Мимишки. Гончаров растрогался, повесил портрет на стену кабинета и более Крамскому не сопротивлялся (мы все знаем этот замечательный портрет в бирюзовых штанах на бирюзовом фоне). Мало того, когда Крамской хотел писать портрет уже больного Некрасова, за «протекцией» он обратился именно к Гончарову. Так благодаря маленькой собачке в очередной раз оживает история русской литературы.

**Е.** Но уж в Египте ты побывал наяву или еще нет? В твоих рассказах Египет взирает сложным иероглифом на читателя.

Меня всегда интересовало, как и почему кто-то влюбляется в чужую культуру. Я довольно поздно полюбил поэзию, живопись и философию Китая. И знаю, как это случилось. В командировке в захолустном магазинчике купил томик поэзии эпохи Тан с черными розами на обложке. Начал читать и пропал. И знаю, почему. У меня так называемое пейзажное мышление. Что создает определенные трудности. Как говорил один персонаж Чехова: она не любила меня потому, что в моих рассказах было много пейзажей. А как ты проникся Египтом?

**К.** Как-то исподволь, хотя и с самого детства, когда я жил в Иванове. В тамошнем художественном музее была (и есть) хорошая древнеегипетская коллекция и даже настоящая мумия (из собрания дореволюционного предпринимателя Дмитрия Бурылина). Во всё это я как-то сразу влюбился. Потом я ходил в этом же музее в школу юного искусствоведа и кое-что из египетских предметов смог даже подержать в руках. Естественно, многое читал. Значительно позже, уже в Москве, я познакомился с серьёзным египтологом. Когда мы с ним после очередной его лекции отправились выпить кофе, легко выяснилось, что мы оба уверены в том, что древнеегипетские боги никуда не исчезли (ни одна из мировых религий их не отменила). В этом знании я и продолжаю пребывать. Кое-что я и написал с Египтом связанное. Да, к слову, получается, что есть ещё одна книжка, которая сложилась сама собой, такая древнеегипетская трилогия. Туда входит «Осирис – Владыка Прекрасного Запада», «Золотой Урей» и «Светские сны поручика Безобразова». «Безобразова», правда, надо ещё дописать. Вот закончу роман про любовь и путешествия, вернусь к «Безобразову», чтобы трилогию завершить, а то как-то я его забросил (а ему это не нравится, и он время от времени взывает к моей совести).

**Е.** Я солидарен с поручиком и предпочитаю литератора Кузнецова. Ведь поручик может и на дуэль вызвать. Если что, буду его секундантом. Уже какой-то сюжет мерещится: дуэль поручика Безобразова с Анубисом. Ведь Татьяна Морозова изобразила тебя в образе Анубиса, верно? Она была чудесным художником. Хотя, почему была? Она остается здесь в своих рассказах, картинах. Расскажи о ней.

**К.** Таня изобразила меня в виде прорастающего Осириса (кстати, я у неё на всех портретах, да и на самом деле – всегда зелёный). Про саму Таню у меня есть простая и чёткая формула: Таня – хороший писатель, очень хороший художник и гениальный человек. Именно так. Она, кажется, единственная из всех моих знакомых, кто умудрился прожить жизнь так, что на свете нет ни единого человека, кто может сказать о ней плохо. Я написал о ней «Путь». Думаю, лучше это почитать, а то что я скажу тут в нескольких строках? Хотя то, что очень важно, я и тут сказал. Да, а художник она, конечно, замечательный и мгновенно узнаваемый по любой картине или рисунку. И опять же очень говорящая деталь: дети, после того как увидят её работы, начинают рисовать.

**Е.** Да, я помню, есть и прорастающий Осирис-Кузнецов. Прорастающий колосьями-рассказами. А на аватарке в «Живом журнале» ведь некто в тельняшке с головой собаки? Или это все-таки тоже Осирис? Просто мне известна и твоя любовь к собакам.

**К.** Понял, о чём ты. Это в Фейсбуке у меня на обложке мой портрет, нарисованный Таней. Там рядом со мной морда нашего шоколадного лабрадора Бонда, а за спиной египетский папирус с тремя музыкантшами, подаренный мне когда-то египтянином, нашим другом Фаруком (не подлинник, конечно, а современная копия, зато уж мой портрет – самый настоящий подлинник). Анубисом же звали нашу

первую собаку – рыжего эрдельтерьера. А у тебя всё это просто соединилось в воображении! Вот нам и буквальный пример забавного симбиоза реального и воображаемого.

**Е.** Да, так и есть. И это – в духе многих твоих рассказов, где зачастую герой балансирует между сном и явью, между реальностью и воображаемым миром. А иногда и проникает туда, в запредельность. И все это у тебя сделано очень тонко, живо. Но как иначе, если твоим учителем был необыкновенный мастер Анатолий Ким?

**К.** Анатолий Андреевич был руководителем нашего семинара в Литературном институте. Да, в чём-то, правда, скорее, в жизни, а не столько в литературе (тут мы учимся у всех и у всего окружающего) стал он мне учителем. Полушутя он всё же себя учителем тоже называет, но не любит, когда к этому относятся слишком серьёзно.

Со временем возрастные расстояния заметно уменьшаются, и мы давно с ним ещё и добрые старые друзья. Кстати, опять же – человеческая деталь. В Литинституте после окончания учебного года была так называемая аттестация. Присутствовали на ней и руководители семинара. Кажется, после второго курса там был «поставлен вопрос» (прямо по Булгакову) о моём отчислении за необъяснимые пропуски занятий, особенно идеологических. Ким, сидевший тихо где-то у окна, повернулся и негромко сказал: «Тогда я тоже уйду». И всё осталось как было, только больше ко мне никто с дурацкими претензиями не приставал.

**Е.** Лучшей аттестации и не придумашь. Хотя, как мне кажется, литератора в тебе отчисление не убило бы. Раз уж мы заговорили о классиках, а Ким, конечно, классик, давай вспомним и другого – Павича. Его «Хазарский словарь» из тех книг, что стремятся быть сверхкнигой, в том смысле, какой имел в виду Малларме, пытаясь создать свою Книгу,

в которой было бы все. Как вы с ним познакомились?

**К.** Эту историю я описал в эссе «Человек по имени Милорад», опубликованном вскоре после смерти Павича, в журнале «Иностранная литература». Если вкратце, то дело было так.

Про Павича мне рассказал Олег Шишкин и дал почитать отрывок из «Хазарского словаря», опубликованный в журнале «Югославия» (это был конец восьмидесятых – начало девяностых). Всякие забавные вещи пропускаю – только пунктиром. Я прочитал «Хазарский словарь», позже – другие вещи Павича, познакомился с переводчицей «Словаря» Ларисой Савельевой. И всё равно немного в его существовании сомневался и даже написал об этом в каком-то эссе.

Когда затеялся журнал «Ясная Поляна», соредакторами которого стали как раз Анатолий Ким и Владимир Толстой, я предложил напечатать Павича в первом же номере. Благодаря Ларисе Савельевой и Григорию Чхартишвили (ещё не ставшему Акуниным и работавшему заместителем главного редактора «Иностранки») мы направили Павичу факс с приглашением и просьбой о правах на издание. Он ответил быстро и в качестве гонорара попросил пригласить его в Ясную Поляну, что и было сделано.

У Толстого в Хамовниках я присоединился к хождению по дому и саду, устроенному директором для Павича. Напоследок протянул ему журналы с моими публикациями о нём, он их вежливо взял и передал жене Ясмине. Они уже собирались покидать дом Толстого, когда Ясмине заглянула в журналы и объяснила ему, что я не просто курьер. Тут же они позвали меня с собой в старомодный зелёный «мерседес», и мы приехали в «Метрополь», где мы с Павичем потом долго беседовали о «Словаре», готовящейся экранизации с Марлоном Брандо в главной роли (главных ролях,

точнее), о трубках и прочей занимательной всячине.

По дороге в Ясную Поляну остановились в музейном центре в Туле, где были скромно накрыты столы, дабы всем передохнуть и перевести дух. Я подошёл к Павичу и сказал: «Господин Павич, а как вас можно называть по-человечески?» «Зови меня Милорад», – ответил он, а Ясмине нас тут же сфотографировала, чтобы я больше не сомневался в реальности его существования.

В Ясной они с Ильёй Владимировичем Толстым в белоснежных рубашках, накинутых на плечи пиджаках и при галстуках гуляли по аллеям усадьбы и говорили то по-русски, то по-сербски. А когда Павич с Ясминой куда-то исчезли, меня, как их «самого близкого друга», отправили провести их в гостиничный люкс. Оказывается, они там вдвоём пили шампанское. Я хотел ретироваться, но меня зазвали и ещё несколько часов мы пили шампанское втроём.

Последний раз мы виделись в другой его поезд в Москву. Была большая встреча в редакции «Иностранной литературы». Я не по своей вине опоздал и едва смог втиснуться в довольно просторный зал, стараясь никому не мешать. Но Милорад меня заметил, остановил свою речь и махнул мне: «Игорь, иди сюда!» Под взглядами собравшихся я пробрался к «президиуму», где Павич беспрекословно указал мне на место рядом (я скромно присел чуть позади). Об этом перформансе Павича даже написали тогда некоторые СМИ.

Дети были в Белграде и передали привет памятнику Павича, а я, когда оказываюсь рядом с Библиотекой иностранной литературы, всегда здороваюсь с его бронзовой головой, стоящей там на постаменте во внутреннем дворике. Так что мы с Милорадом не потерялись.

**Е.** А ничего такого в духе снов «Хазарского словаря» не было? Снился тебе Па-

вич? Давай вообще поговорим о снах. Я давно записываю наиболее интересные сны и полностью согласен с Флоренским, считавшим сны ступенью духовной жизни. В «Иконостасе» он подробно говорит об этом. Флоренский различает сны по времени явления: ночные отражают события минувшего дня, а предутренние нисходят иной раз и в виде откровения. Мне снились Толстой, Хемингуэй, Бунин, Борис Васильев. Толстой зажигал по берегу Днепра керосиновые лампы, пил чай в Вязьме, Бунин ехал в бричке по длинной аллее, на дороге серебрились две полосы воды, Хемингуэй сидел в пункте дорожной патрульной службы, а Джон Леннон в белом хитоне пас коров в альпийских лугах Гиндукуша. Ничего особенного, но меня эти сны как-то радовали и вдохновляли.

**К.** У меня своё отношение к сновидениям, и оно менялось со временем. Был период большого увлечения снами – я тоже старался их запоминать, даже записывать, но потом отложил это дело и больше к их «использованию» не возвращался. Я понял, что за редчайшим исключением сон в пересказе ужасно занудлив и скучен. И если мне надо как-то в сочинительстве уйти за грань обычной реальности, я, скорее, всё придумаю – и выйдет уж точно достовернее. Хотя, конечно, сон – часть нашей жизни, но больше сны меня не поражают – хотя иногда я всё ещё летаю, буквально на днях было.

Зато есть некоторые сны, которые «достают» меня всю жизнь. Так, мне периодически снится, что меня снова забрали в армию. И ужас в том, что я никак и никому не могу объяснить, что я тут уже был, и не хочу, не надо мне сюда снова. Кстати, когда я рассказал Киму про этот повторяющийся сон, он (отслуживший в армии почти на двадцать лет «давнее» меня), сказал, что и его до сих пор подобный сон мучает.

А вот забавно – про Таню, ещё до нашей женитьбы и даже знакомства. Чтоб не

пересказывать, приведу цитату из «Пути»: «Снился Тане сон, что муж её – Чехов. И не какой-нибудь там однофамилец, а именно Антон Павлович. И она обращалась к нему: Антоша, что явно свидетельствовало об определённой доверительности и привычке друг к другу. Во сне Антоша был в халате. И, кажется, снился он Тане не один раз. И Чехов, и халат. Поэтому, когда мы поженились, нашим едва ли не первым «семейным» приобретением стал полосатый халат – для меня. Раньше я никогда не носил халатов, позже, когда он истаял от времени, тоже».

Кстати, «Толкование сновидений» Фрейдда лежит у меня на книжной полке, но я в книгу эту уже лет двадцать не заглядывал: не хочу ничего «толковать».

Чудес у меня в жизни и так предостаточно, в самой что ни на есть реальности.

Да, Павич мне никогда не снился, но мне достаточно чуть отстраниться от повседневности, может, прикрыть глаза – и я его увижу, если захочу. Случится ли у нас какой-то разговор? Едва ли. Я к этому как-то не стремлюсь. Мы даже с Таней во сне очень редко встречаемся. Но я и так чувствую её присутствие, а её «Автопортрет с Бондом» стоит на книжной полке. Можно смеяться, но я с этим портретом иногда общаюсь. Вполне себе наяву.

Вспомнил ещё – очень важное. Когда умерла мама, я остался один, поступил в Литинститут, и в свой дом приезжал только на летние каникулы. А так как за пропуски меня лишали стипендии, то бывало довольно голодно. И в такую особо голодную ночь мне приснилась мама, стоящая на улице возле нашего дома. Я спустился вниз. И она протянула мне теплый пакет из синей бумаги. Я развернул его – там оказались котлеты. И, кажется мне, котлеты те мой тогдашний голод реально утолили. То есть, грань между сном и явью совершенно истаяла. Даже вкус этих котлет до сих

пор помню. Вот такая совершенно подлинная история.

**Е.** Тут же вспомнил: снится мне дядька Витя, фронтовик на одной ноге, с которым я в детстве колесил на его мотоколяске по лесным дорогам, за грибами ездили, на рыбалку. И вот он мне снится возле яблони, увешанной яблоками. Я спрашиваю: дядя Витя, верить ли снам? Он отвечает: надо уметь толковать, понял? Понял. А сам проснулся и ничего не понимаю. Но утром что-то меня заставляет заглянуть в холодильник в нижний отсек с коробками. И там оказываются краснобокие яблоки. Приезжала дочь, мы купили ей яблок с собой, половину себе оставили и забыли. А деньги что-то и утекли, так что даже яблок мы не могли купить, ходили на рынке, простреливали глазами по яблочным рядам... Но ты прав, сны в рассказах опасная вещь. Читателя они раздражают. Сужу по откликам на недавнюю свою книгу. Хотя там подлинные и не такие уж скучные сны. Да кто-то режет: выдумка! А Кафка не выдумка? Но попробуй еще добиться такой правдоподобности невероятного, как у Кафки. Или как у Павича. Ты не спрашивал насчет его снов, придумал он их или какие-то видел сам? Как ты думаешь?

**К.** Не спрашивал. Но я думаю, что он как художник настоящий, всё черпал отовсюду, из снов, возможно, тоже. Но профессионал от дилетанта отличается именно тем, что не просто что-то «видит-слышит-излагает», но владеет ещё и ремеслом. А как мы знаем, в любом искусстве, в том же нашем сочинительстве, ремесло играет роль вовсе не второстепенную. И Кафка своё сочинял очень непросто. Это только случайному взгляду кажется, что там абсурд сновидческий какой-то нанизывается на «простенький» сюжет (а в «Америке» так всё внешне даже вполне реалистично). На самом деле у Кафки всё СДЕЛАНО с высочайшим профессиональным мастерством. Что ни в коем разе не отменяет наличие (и

необходимостью) таланта и вдохновения. А простая запись даже удивительного сна – всего лишь запись, вроде дневника. Но чтобы превратить хоть сон, хоть явь, хоть воображаемую реальность в нечто законченное и обладающее самостоятельностью ИСТОРИИ, надо очень потрудиться. При этом, сколько ни трудись, если ты не можешь вдохнуть в историю и персонажа подлинное и достоверное, чему читатель будет сопереживать, как совершенно настоящему, то выйдет просто ТЕКСТ. Может, даже очень хороший по-своему, но лично мне ТЕКСТЫ не интересны.

**Е.** Да, текстов и вообще написанного слишком много. И, может, прав Борхес, сочинявший, по сути, маленькие романы, ну или сверхплотные рассказы. Что-то подобное я нахожу в твоих рассказах. Взять тех же «Птиц ночи» или «Сад грёз». «Птиц ночи» я на днях перечитал и вот на прогулке пересказывал дочке и жене, они слушали, что называется, затаив дыхание, в каких-то местах смеялись, но таким, знаешь, грустным сопереживающим смехом. Рассказ мастерский, конечно. История, изложенная в нем, как будто требует продолжения, ей тесно в рамках рассказа, как и, собственно говоря, птицам, ибисам, охранявшим мумию из музея и потом поселившимся в снах мальчика и на чердаке разрушающегося театра. Этот рассказ как раз и открывает тайну твоего приобщения к египетским древностям. «Сад грёз» рассказывает о нелепом человеке, грузчике из магазина, дауне, который устроил на каких-то задворках, в тупичке свой сад. Пронзительная вещь, хотя и на грани фола под конец. Но чудесным образом тебе удается не врезаться в землю и выйти из пике. И вот это опасное маневрирование заряжает рассказ жизненной силой. Нельзя избегать неудобных, противоречивых моментов, не надо бояться почти рвущейся ткани повествования. Это буквально поучение мастера, содержащееся в твоём

рассказе. Но, разумеется, рассказ написан не для этого... А для чего? Раз уж есть возможность, то надо об этом и спросить у автора, хотя у меня есть и свой ответ.

**К.** Есть простая формула: если можешь, не пиши. Конечно, это немного красиво, сказать: не могу. Наверное, я не помру сразу, если ничего писать не буду. Но тогда моя жизнь, лично моя, а не вообще человеческая, будет отчасти бессмысленной, несмотря на всякие радости бытия вроде любви, детей, неба, леса, моря и прочих путешествий.

Отвечу нагло, но зато честно: ну, дадено. И ты обязан.

И ещё это, конечно невероятной силы кайф, восторг, когда что-то получается понастоящему. А в процессе забываешь иногда о времени, пространстве и всём остальном. Одна история личная.

Я два года писал маленький рассказ «Троллейбус от Первой Градской» про рождение. У меня было всё уже практически написано, и финал красивый, а вот какого-то чуда там не хватало.

И однажды я проснулся. Лабрадор Бонд сразу почувствовал, подошёл и ткнулся мордой мне в лицо: пойдём гулять, что ли, уж тогда. Подожди, говорю. Сажусь за компьютер. Бонд вздыхает и идёт в коридор на свою подстилку.

Я написал три абзаца в середине и несколько строчек в конце рассказа. И чудо случилось.

Было у меня ощущение, что всё это заняло минут двадцать. В реальности же прошло ПЯТЬ ЧАСОВ! Надо отдать должное чудесному Бонду – он безропотно лежал на своей подстилке и мне ни разу не мешал.

И ещё я точно знаю: если ты написал что-то хорошее, мир становится, пусть на каплю, а лучше!

А какой твой ответ?

**Е.** Эзра Паунд писал одно свое двустишие целый год, написал, уподобив людей

в парижском метро листе на две ветки. В метро я иногда вспоминаю это двустишие и вижу, как точно он все схватил.

А мой ответ такой. «Сад грёз» – это твой вариант «Священного и мирского». Знаю, что ты любишь Элиаде. Только у тебя это скорее иное и мирское. Вот, когда в конце вдруг слышен пронзительный плач ребенка, а на самом деле даун качает всего лишь куклу – это прорыв иного в профанный мир. Еще мне кажется, что этот рассказ необъяснимым образом одна из расходящихся тропок Борхеса, ну, я имею в виду его «Сад расходящихся тропок». Герой рассказа Борхеса Ю Цин, выполняющий свою задачу разведчика в Британии времен Первой мировой, свидетельствует, что он был во власти образов и не помнил свою участь беглеца, он теряет ощущение времени и вообще даже ему кажется, что он есть сознание мира. Но ведь именно это и происходит с твоим героем, мальчишкой, устремившимся прочь из привычного мира школы, друзей, всяких проказ, в лабиринт. Он и есть беглец из обыденности. А то, что открывается там, в тупике, называемом дауном садиком, садом, это уже и не видение подростка, а некое сознание мира. Рассказ Борхеса, как клич в гулком пространстве, породил множество откликов. От этого рассказа расходятся тропинки постмодернизма. Поостерегусь объявлять тебя постмодернистом. Но его влияние явственно во многих твоих рассказах. Борхеса.

**К.** Твои слова о Борхесе и «Саде расходящихся тропок» помогли мне вдруг додумать или, если хочешь, развить одну мысль, которую я давно думаю.

Однажды, уже много лет назад, Анатолий Андреевич Ким в одном долгом ночном телефонном разговоре сказал: «Знаешь, а жизнь – всегда неудача». Я принялся банально возражать: «А вот вы, столько книг написали, перевели вас на уйму языков...» Он же ответил: «Пройдёт ещё время – пой-

мёшь». А совсем недавно, а ему в этом году исполнилось восемьдесят, он сказал, словно в продолжение того разговора: «Вот я написал много книг, перевели меня и т.п., а всё это на самом деле неважно». Тут я уже ничего не стал возражать, потому что, как мне кажется, сам уже что-то понимаю, без лишних объяснений.

И да – у меня растёт внук Петя, ему в этом году два года. Я ему радуюсь, просто так, и неторопливо жду, когда ему станет два с половиной и с ним можно будет уже совсем «по-взрослому» общаться. Это так здорово! Вроде, ведь важнее всякой литературы и прочего искусства?

А тропки-то всё равно сходятся... Потому как я уже думаю о том, что буду сочинять

для него сказки. Наверное, я эту книжку так и назову, совсем просто «Сказки для Пети».

Борхеса я, конечно, люблю. И Элиаде тоже. Они сумели заглянуть куда-то за край обыденной повседневности. И если ощущение взгляда за этот край, точнее, тонкую завесу, чувствуется и в моих сочинениях, то в этом смысле я, конечно, их влияние испытал.

**Е.** Да, Игорь, думаю, твои читатели согласятся с этим утверждением. Твои рассказы и повести дарят нам этот взгляд, точнее – возможность такого взгляда. А дальше читатель сам должен приложить определенные усилия, чтобы дозреть до авторского зрения. И возможность этого заманчива, хотя всегда обманчива.